

ХРАНИТЬ ВЕЧНО.  
КРИМИНАЛЬНОЕ РЕТРО  
ЮЛИИ ЯКОВЛЕВОЙ

# Начало





**Р**аннее нежное летнее солнце всегда было городу к лицу.

В серых пожухлых домах на другой стороне проспекта появилось что-то легкое, бумажное.

Его сапожная будка быстро накалялась. На стеклах цвели пыльные пятна и потеки — не разглядеть толком прохожих. Внутри становилось душновато. Он двинул рукой по щеколде — пихнул дверь. Подпрыгнула и закачалась, стуча об стекло, табличка «Открыто». На тротуаре отскочил парень: чуть не ушибло дверью.

— Эй, старичок, размахнулся! Сам не рассыпся, — рассмеялся парень, поймав скрипучую створку.

«Старик?» — он не удержался, высунулся. Но только и успел, что поглядеть вслед. А туфли-то у наглеца, отметил мимоходом, уже летние, парусиновые. Упруго шлепали. Веселые такие, молодые.

Голову овевал невский ветерок.

Сапожник поглядел на солнце, прижмурился, сердито задвинулся обратно в будку. В станке пяткой вверх был зажат старый жеваный сапог со сбитым каблуком. Под станком валялись другие пациенты всех размеров и мастей, тянуло несильным, но стойким запахом немых ног. Граждане понесли в ремонт зимнее — убирают к лету.

Ковырнул шилом. Каблук совсем негодный. Да и сапог тоже. Ткни — развалится. Раньше такое выбрасывали.

О, это раньше. Много он знал о таких сапогах и их владельцах — раньше?

«Старичок»! Какой же он старик? Не обидно. Потому что неправда. О нем еще можно сказать: за пятьдесят.

И проспект этот, как его, дьявола?.. Володарского. Литейный он! Литейный! Ах, как сверкали на нем фонари перед шикарными доходными домами. Раньше. Как летали огненные рысаки под синими сетками. Раньше.

Вот здесь по соседству у него была холостяцкая квартира. Маленькая, богат он никогда не был. Собирались по вечерам, свои, полковые. А дамы... Быстроживущие милые мотыльки полусвета. У нее были каштановые волосы. Влажный, арабский, что называется, глаз. Как только другие описывают красивых женщин? Он не умел. Он их боялся. С той подлой истории... После той истории его словно пришибло. Вот кобылу описать — другое дело. Шея плавная. Холка короткая. Спина и поясница прочные. Постанов ног правильный. Круп спущен умеренно. Как же ее звали? Кручина? Кинь-грусть? Дочка Силвер Винд и Ретивой. Все, все вспоминается, только начни вспоминать. А Ретивая, чья она была дочь?

Он поднял голову от работы. Но окна домов напротив никак не хотели подсказать. Смотрели в ответ как подслеповатые глаза погано состарившейся петербургской демимонденки. Ничего они уже не помнили. Бывшие апартаменты стали коммуналками: десять комнат на десять семей, общая ванная, общий туалет, общая кухня, общая мерзость. Даже пахли эти дома теперь как нищие опустившиеся старухи — мочой и ветхой плотью.

А прохожие топали, шаркали, цокали по проспекту мимо. Неразличимые в своей черно-серо-бурой, пыльной, стоптанной копеечной озабоченности. Носки, задники, подошвы. Ни одного элегантного, ловкого,

кокетливого... Он с омерзением выругал себя за эту свою новую, такую советскую, имени Володарского привычку первым делом смотреть на обувь. Поднял взгляд. На лица. Но и лица, плывшие мимо, были под стать штиблетам.

Он снова занялся работой. Поддел каблук клыками молотка, шваркнул по ручке ладонью и сорвал его ко всем чертям.

По стеклу постучали.

И снова — проклятая привычка! — он сперва посмотрел именно на туфлю. Лакированный нос встал на порог будки. Пыхнуло сладким и душным. Под нос сунулась квитанция. Он взял, изучил через очки лиловые закорючки. Сверился с полкой. Вернул бумажку.

— Не готовы.

— Как это не готовы?

Туфли новые, без заломов даже — а ступни широкие, лицо непропеченное. И новенькая шляпка не помогала. Баба, манька. Такой никакое ателье «Смерть мужьям», никакой закрытый распределитель, никакие талоны высокопоставленного мужа, никакой «Торгсин» — ничто не поможет. Класс-гегемон.

— Не готовы.

Он попробовал закрыть дверь. Лакированный нос не дал. В дверь уперлась мощная рука. «Сложение сырое, с наливками», — профессионально и презрительно отметил он. Таких кобыл браковали. А баба верещала:

— Вчера должны быть готовы! Сволочь, вредитель чертов. При мне тогда делай! С места не сойдешь, пока не сделаешь! Да я тебе покажу! Ты у меня кровью захаркаешь! Гад!

Брань лилась из накрашенного рта. Красная «о», жирный шрифт.

Он таких мильон раз видал. Их он не боялся. Спокойно перевернул табличку: «Закрыто». Снял фартук.

Отпихнув бабу плечом, вышел. Демонстративно посмотрел на часы. Под носом у нее навесил замок. Щелкнул дужкой. И пошел по проспекту имени дьявола Володарского. По Литейному. Брань летела вслед, но не долетала.

Чем хорошо быть сапожником — никто не страшен. Работа найдется всегда. А падать ниже все равно уже некуда.

Лестница обтрепалась, как и весь Петербург за годы советской власти. Но даже и такая, пованивающая, изуродованная по стенам масляной краской домоуправа, с давно содранным ковром и загаженными ступенями, оставалась петербургской лестницей. Он замедлил шаг. Прикрыл глаза. Поразительно.

На этой лестнице у него всегда было чувство, что он не поднимается на второй этаж, а выходит из воды. И вода эта смывала все: проспект Володарского, будку, советские словечки, советские привычки, мерзость, отчаяние, тоску. На площадку второго этажа он вступал уже тем, кем был, — постаревшим, но подтянутым и худощавым отставным поручиком N-ского полка. Любителем рысаков.

Он предпочитал считать себя худощавым. Не тощим.

Дверь в квартиру открылась почти сразу. Будто Александр Афанасьевич подждал. Обменялись улыбками. Молча прошли по темному захламленному старьем, сундуками, тазами коридору. Мимо дверей, за которыми обитали соседи. Александр Афанасьевич пропустил его в свою комнату. На полсекунды плеснул рокот разговоров и то неопределенное бряцанье, смешки, звон, стук, шорох, которыми всегда сопровождается пир. И дверь опять надежно защитила все эти милые звуки. Мягко чмокнула каучуковая лента-присоска, наложенная по всем четырем сторонам.

Пир уже радостно набрал обороты.

Его все приветствовали. Протягивали ему руки через стол. Полковые товарищи. Только они и не вызывали в нем ужас и отвращение, как все остальные люди, после той истории. Он пожимал руки. Быстро с улыбкой отвечал. Порхали смешки, обрывки разговоров. Он уже отодвигал стул. Ему уже наливали. Стукнулись бокалы. За длинным столом их уместилось больше дюжины. Шум переплетался с сизым табачным дымом.

— Ах, дорогой, повтори это еще раз и громко.

— Господин ротмистр! Еще наливочки?

На тарелках было что-то серое. Еда бедняков. Они все теперь бедняки, мелкая шушера — вахтеры, счетоводы, сторожа. Куда еще возьмут бесправного «бывшего», царского офицера? Зато тарелки, бокалы, скатерть, вилки, ножи — хорошего дома. А воспоминания — подлиннее и живее событий дня. Только и слышалось:

— А помните?..

— Господи, благослови вас, Шура, что вы серьезно занимались музыкой.

— Не меня! Не меня! — крикнул седоватый толстячок Александр Афанасьевич, Шура — князь Одоевский. Однополчанин. — Жену мою покойную. Она, бедная, музыку терпеть не могла. Нервы! Дверь пришлось везти из Италии вместе со скрипкой, — хохотнул он.

Все знали этот секрет: комната предназначалась для музыкальных упражнений хозяина, Шуры, князя Одоевского. Его после революции в нее и уплотнили — как в самую маленькую, скромную, почти бедную. Дуракам-пролетариям в голову не могло прийти, что отделка этой кельи обошлась Одоевскому дороже, чем будуар нервной супруги со всеми финтифлюшками. Стены, пол, потолок, дверная коробка — все было искусно изолировано от прочей квартиры. Тоже итальянский мастер работал, между прочим. Специально выписан-



ный. Не комната — музыкальная шкатулка. Ни звука не могло из нее просочиться во вне. Туда, в эсэсэрию.

— Что, можно и спеть?

И тотчас баритон громко затянул:

— Боже, царя храни! Сильный, державный!

Ткнули в бок, баритон закашлялся. Это вызвало новый взрыв веселья. Незамысловатые уютные шутки.

— Вы прервали большую оперную карьеру!

— Что?

Ему все-таки стало слегка не по себе. Как не по себе может стать человеку на стеклянном мосту: вроде и опора под ногами, но вдруг...

— А это не опасно? — Показал глазами на стены: соседи.

Шура захохотал. И сам же громко подхватил:

— Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам!

Звон бокалов не дал ему закончить. Радостно стали кивались над столом голоса:

— За тебя дорогой!.. Ваше здоровье!.. Мир этому дому!.. За музыку! За твою скрипку! Что бы мы все без него делали!.. Эти наши собрания для меня — единственная отдушина... Лишь бы не в последний раз!..

Все тянули друг к другу бокалы. Все чокались. И он протягивал. И он чокался. Но вдруг отвел свой бокал. У толстого человека с круглой седой бородкой в ответ сразу напряглись плечи. Рука так и осталась протянутой, блеснуло пенсне на шнурке. Лицо гостя слегка побледнело, но он сделал вид, что не было оскорбления. Поднял бокал, приветствуя, доброжелательно выговорил:

— Что же это вы, Юрий Георгиевич? Далеко тянуться?

— Нет, — холодно отчеканил он. Голос теперь тоже был другой — настоящий. Не тот, что каждый день отвечал советским гражданам, принимая штиблеты:

«Поглядим-с». Его собственный. Каждый звук по-петербургски отчетлив:

— Я с вами, господин Бутович, не имею охоты чокаться.

Никто в звоне, стуке, разговорах не заметил заминки. Но хозяин, Шура Одоевский, уловил сбой в весело и привычно работавшем механизме. Поспешил к обоим с бутылкой.

— У всех полны чаши? Всего в досталь, господа? — Весело и гостеприимно он поглядывал то на одного, то на другого. Но под гостеприимством сквозила тревога.

— Не знал я, Шура, что ты пригласил сегодня одного нерукоподаваемого господина, видишь ли.

Лицо Бутовича окаменело.

— Полно, Юрий Георгиевич, — выговорил он. — Мы все теперь одно. Стоит ли петушиться?

Юрий Георгиевич вскочил так быстро, что разговор за столом разом умолк. Замерли ножи и вилки, застыли бокалы. Только тоненький дымок струился вверх из неподвижной сигареты в чьих-то пальцах.

— Не одно мы, господин Бутович. Я большевикам не служу. С комиссарами не якшаюсь. В отличие от вас.

— Я служу не большевикам! — разом вспыхнул Бутович. — Я служу лошадям! Если бы я не остался при конном заводе...

— В своем имении. При своем конном заводе, — презрительно поправил его Юрий Георгиевич.

— Я боролся не за свое имение.

— За свою шкуру, — последовало холодно.

— За лошадей! Да, я боролся! За орловского рысака.

Бутович обвел глазами стол, ища поддержки.

— Это... это нечестно. Вы прощаете другим. Карьеру при советах. А мне — не прощаете? Или здесь другое? Что? Та история? Неужели та история?!

Но едва встречался с чьим-то взглядом, взгляд этот затягивался льдом. Поначалу они еще старались делать вид, что не замечают «слона в комнате», — ради драгоценной редкости их встреч, ради гостеприимного Шуры, ради их прошлого. Но теперь не скрывали чувств. Били презрением.

— Хорошо. Допустим. Признаю. В той истории я перегнул. Но сколько уже можно? Неужели вы не видите главного? Я их спас! Лошади не погибли! Великая русская порода не погибла! Линия великого Крепыша не погибла для России! Потому что я трудился. Боролся! А где все это время были вы, Юрий Георгиевич? Вспоминали своих никчемных американских метисов? Пили горькую и оплакивали судьбу?

Но молчание уже сковало комнату. Даже добродушнейший Шура глядел тяжело и осуждал, одновременно словно извиняясь — уже как хозяин перед гостем — за собственную ненависть.

Бутович встал, бросил салфетку, поймал рукой выскользнувшее стеклышко пенсне. И вышел из комнаты, когда-то давно, в другой жизни обитой итальянским умельцем звуконепроницаемой пробкой.

Вышел обратно в Ленинград 1931 года.

# Глава 1

